

Евгений МИРМОВИЧ

Триптих рассказов из цикла «Маленький человек»

СЛОЖНЫЙ ДИАГНОЗ

— Эй, Генка! Позови мне сюда деда! — кричит автослесарь Похалюк, высовывая голову из пропахшей моторным маслом бетонной ямы, над которой повисла на чурбаках старенькая «Нива». — Мне тормоза прокачать надо. Пусть дед сядет в салон, понажимает на педаль.

— Дед в третьем боксе пол моет. Там ребята масло отработанное разлили, — отзывается Генка, продолжая аккуратно наносить шпаклёвку на мягое крыло серебристого «Форда».

— Ну так сходи, позови. Не вылезать же мне из ямы? — не унимается Похалюк.

Действительно, выбраться из-под автомобиля с его полутора центнерами веса непросто.

— Ща, погодь... — Генка Петров, высовывая набок язык, делает ещё несколько движений шпателем и, внимательно осматривая свою работу, довольный результатом отправляется звать деда.

Вообще-то дед — это я. Это они меня зовут. Правда, я вовсе не дед, потому что внуков у меня нет, да и лет мне всего пятьдесят четыре. Привязалась ко мне эта кличка с незапамятных времён. Видимо, внешность у меня такая. Бывают такие лица, что с юности кажутся стариковскими. Наверное, у меня как раз такое. Да и статью я не вышел. Росточка небольшого, сухой, жилистый и немного сутулый. Может быть, из-за сутулости меня дедом и прозвали, я уж и не помню.

— Слышь, дед, садись в кабину, давай тормоза прокачаем, — раздаётся из ямы голос Похалюка, — Только не как в прошлый раз. Педаль тормоза посередине. На неё жми.

Да теперь-то я запомнил. А в прошлый раз по рассеянности на педаль сцепления всё давил. Похалюк под машиной добрых полчаса мучался. Не прокачать тормоза, и всё тут. Потом, как увидел, что я не на ту педаль жму, сердился, ругал меня идиотом и грозился Аркадию Михайловичу на меня пожаловаться. Вообще-то Похалюк незапамятный. Поругается и забудет. Да и директору нашему Аркадию Михайловичу до таких пустяков дела нет.

Аркадий Михайлович меня никогда не ругает, потому что я в этой мастерской дольше всех работаю. Должность моя, правда, никак не называется, потому что профессии у меня нет. В детстве я болел много и не выучился толком. Поэтому с тех пор, как покойный мой дядя сюда меня устроил, я работаю здесь при всех директорах и хозяевах, что были за тридцать лет. А делаю я всё, что просят... Убираюсь, полы мою, если что поднести надо или разгрузить, это тоже ко мне. Зимой снег чищу, лёд долблю, а летом подметаю двор и асфальт поливаю в жару.

Аркадий Михайлович, пожалуй, единственный, если не считать администратора Катерины, кто знает, что меня зовут Толик, потому что он мне на карту зарплату переводит. Маленькая у меня очень зарплата, но всегда вовремя приходит. Хороший человек Аркадий Михайлович.

Катерина тоже очень хорошая. Одна троих пацанов растит без мужа. А ещё она за меня всегда заступает, когда ребята с автомойки надо мной подшучивают. Однажды они меня даже водой с ног до головы окатили.

— Зачем же вы так? — говорю. — У меня и спецовки-то запасной нет. Теперь до вечера в мокром буду ходить. Благо, что лето на дворе. Вот вы сорванцы.

А Катерина пошла в подвал и воду им перекрыла. Пока они разбирались, что к чему, у них очередь скопилась. Клиенты ругаются. А Катерина им выговаривает: «Не

будете деда обижать, олухи!» Катерина добрая.

Однажды прихожу на работу, а Катерина сидит, плачет.

— Что ты, — спрашиваю, — Катя?

— Сына на второй год в пятом классе оставили. Совсем учиться не хочет.

— Разве же это беда, Катенька? Я вот вообще школу не закончил, и ничего. Живу помаленьку.

— А что же хорошего, Толик? Ты ж на себя-то посмотри... Горе ты наше!

— Я, Катерина, свой кусок хлеба честно зарабатываю. Людям помогаю. Не пропиваю ни копейки. И вообще, если хочешь знать, есть у меня одно большое дело. Только рассказывать о нём рановато ещё.

— Дело? — Катерина вопросительно смотрит на меня и грустно улыбается, вытирая платком размазанную на левом глазу тушь. — Какое ж у тебя может быть дело? Ты бы хоть семью себе под старость завёл. Всю жизнь бобылём, ни кола ни двора.

— Бывает, Катя, по-всякому у людей. Важно, чтобы человек добро преумножал, а не жил, как паразит, без толку и пользы.

— Чудной ты, дед, ей-богу, — Катерина достаёт из тумбочки своего стола сосиску в тесте. — На вот, Толик, поешь. А то, небось, ещё и не завтракал. Вон худющий какой!

Катерина знает, что я очень люблю сосиски в тесте, и иногда приносит мне их. Почему-то ей нравится смотреть, как я их ем. Вроде и нет в этом ничего особенного, а она смотрит всегда с умилением. А я смотрю на неё с благодарностью. Хорошая она женщина.

У нас вообще коллектив неплохой. Только шутки у людей бывают иногда грубые. Вот моторист Гришка любит на публике обнять меня грязными руками, демонстративно вытирая их о мою спину. Ему кажется это смешным.

— Гриша, ну это же дурацкая шутка! Не надо так, Гриша, — говорю я ему всегда и пытаюсь вырваться из крепких объятий моториста.

А он лишь улыбается. Ну что же с ним поделать? Пусть ему будет хорошо. Я тоже начинаю улыбаться вместе с ним. А Катерина однажды влепила мокрой тряпкой по затылку Гришке, когда тот в очередной раз проделал свою шутку.

— Ты чё, Катька! — тарачит недоумевающие глаза Гришка.

— Пыль протёрла с твоего дурного затылка, — злобно бросает Катерина и уходит.

— Выпившая, что ли? — интересуется у окружающих Григорий, но все только удивлённо пожимают плечами. А мне отчего-то становится неловко. Я вообще очень не люблю, когда люди ссорятся.

Ещё у нас есть электрик Дергачёв. Он любит задавать мне один и тот же вопрос: «Какой у тебя размер ноги, дед?» И, услышав неизменный ответ: «Тридцать девятый!» — советует покупать обувь в «Детском мире» в целях экономии. Дергачёв особенно любит повторять эту шутку в присутствии клиентов. Ему кажется очень остроумным дать мне такой ценный совет. Но я привык и не обижаюсь.

Что поделаешь? Люди добрых слов чураются. Всё лихость? Люди показывают. А сами в душе меня любят. Вот и Похалюк тоже любит меня по-своему. Всё учить пытается. В день зарплаты он обычно выпивает в обед полбанки с электриком Дергачёвым и настроивается на философский лад.

— Зачем ты живёшь, дед? Вот что ты за человек? На кой тебе жизнь?

— Как это зачем? Меня мать с отцом родили. А раз я родился, значит, нужен на белом свете.

— Да кому ты на фиг нужен! — хохочет Похалюк. — Вот, например, пацаны с автомойки... Они молодые, симпатичные, они бабам нужны. Дергачёв — рыбак заядлый, у него дело в жизни есть. Как только минута свободная появится, он — на рыбалку. И летом, и зимой. А Генка кузовщик? На гитаре, слышал, как лабает? Вот это талант! Аркадий Михайлович бизнес ведёт. Он вообще голова! Катька — мать многодетная. Она детей растит, хоть и без мужика. Я вот, к примеру, механик. С большой буквы «М», потому что высшего разряда. А ты вот на кой хрен существуешь?

— Я всем людям помогаю, меня люди любят. И вообще, у меня тоже одно дело важное есть. Только говорить о нём пока рано.

— Да какое у тебя может быть дело? Ты же не слесарь, не мастер. Профессии нет. Семью не создал. Денег не скопил. Увлечений не имеешь. Да ещё туповат, чёрт тебя подери.

— Я людям помощник. Значит, и я тоже на белом свете пригожусь.

— Болван ты никчёмный, дед, — вздыхая, произносит Похалюк и уходит переодеваться.

Я не сержусь на Похалюка. Вон какой он тучный! Гипертония у него, говорят, а он ещё и водкой балуется. Я всегда сочувствовал тем, кто выпивает. Несчастные они люди. Плохо им живётся. Они думают, что им от чего-то другого плохо. От того, что денег мало, что жильё тесное или жена плохая. А я думаю, что им как раз от водки и

плохо. Поэтому и жизнь кажется никудышной. Если бы не выпивали, так и денег побольше было бы, и во всём остальном получше, а главное, мир они видят совсем другим. Мутный он для них и серый. Как будто пакет полиэтиленовый на лицо натянут.

Мир-то, он другой совсем. Яркий и красочный, даже когда дождь идёт. В нём времена года есть, а не только четыре квартала. Добрых людей полно, а не одни спины в очереди в кассу. А главное, небо есть. Они же небо совсем не видят, потому что смотрят всегда под ноги. А я небо очень люблю. Если бы я жил в пустыне, где ничего, кроме неба, нет, всё равно счастлив был бы. Ведь небо всегда разное. И ещё небо — это мой главный друг.

У меня много друзей. Вот, например, клён на трамвайной остановке у метро «Чёрная речка». Когда я с ним познакомился, он был совсем небольшой. А я был такой же, как сейчас. А теперь клён огромный, он вырос и часто укрывает меня летом от дождя. Однажды он заболел, и на его листьях появились чёрные точки. Я очень переживал и даже стал узнавать, как лечат деревья. На следующий год клён поправился. Но я по-прежнему слежу за его листьями. Каждый день я здороваюсь с клёном, когда жду трамвай. Однажды я запрыгнул в уходящий трамвай и забыл поздороваться со своим другом. Мне сразу стало как-то не по себе. Наверное, клён смотрит вслед трамваю и думает, что я его разлюбил.

На следующей остановке я вышел и вернулся, чтобы сказать клёну «прости». И на душе сразу стало хорошо. Только домой я уже пошёл пешком, потому что заплатить второй раз за трамвай я не могу. Но это же не беда, ведь это ради друга.

Некоторые люди говорят, что я чокнутый. Особенно часто так говорили, когда я носил с собой на работу красный воздушный шарик. Он улетел с какого-то праздника и запутался в ветках дерева. Мне показалось, что ему там плохо, и я спас его. Привязав шарик к своей сумке, я носил его с собой везде. Шарик тоже был моим другом. К сожалению, шарики не живут долго. Когда он умер, я похоронил его в сквере на Петроградской стороне.

Может, я и вправду ненормальный. Наверно, это так и есть, потому что в детстве я тяжело болел и раньше у меня иногда отказывала память. В таких случаях я не знал, куда мне идти и где мой дом. Меня находили, голодного и мокрого, где-нибудь на скамейке в парке и приводили домой. Потом память ко мне возвращалась, и я узнавал свою комнату и соседей. Мой дядя говорил, что рано или поздно это плохо кончится. Врачи говорили, что это неизлечимо. Какой-то сложный диагноз, я не помню. Да я и сам понимаю, что смерть моя наступит именно так. Человек в беспомощности почти обречён на улицах огромного города. Просить помощи я в таком состоянии не могу, потому что не знаю, что она мне нужна. Я всё вижу, всё понимаю, но не знаю, кто я и что должен делать. К счастью, теперь со мной такое случается крайне редко и продолжается недолго.

Сегодня день зарплаты. Похалюк с Дергачёвым собираются выпить. Катерина убежала покупать детям учебники к первому сентября. Аркадий Михайлович с утра уехал в банк и больше не возвращался. В городе стоит ужасная жара. А я, как всегда в день зарплаты, поеду не домой, а в центр города. Но это мой секрет. Может быть, я тоже сделаю в жизни одно важное дело. Только говорить об этом ещё рано. И вообще, хвастаться хорошими поступками нехорошо. Так мой дядя покойный всегда говорил.

Город задыхается от жары, многократно усиленной асфальтом и пыльными стенами зданий. С самого утра духота. Я уже добрался на трамвае до Лигейного проспекта, и теперь мне надо пересечь на маршрутку. Ещё немного, и мой родной город замрёт в непроходимых пробках. На мосту грохочет трамвай. Из подворотни запахло дымом горячей помойки. Я жду маршрутку. Мечтаю о чуде. Например, о стакане холодной газировки за три копейки, как в детстве. Впрочем, пепси-кола тоже сгодилась бы.

А вот прямо напротив меня в плотном горячем воздухе неспешно пролетает огромный шмель. Откуда же он тут взялся? Первое, что приходит в голову, — вылетел из салона «Билайн», что через дорогу. Интересно, кто же мне так замусорил голову? Но, и вправду, откуда? Никогда не видел здесь шмелей...

Шмель завис над мостовой, как будто размышляя: стоит ли ему продолжать этот бессмысленный полёт в пространстве, где нет ни единой травинки, ни одного цветка? Я люблю рассматривать насекомых. Шмель необычайно красив. Его чёрно-жёлтая спина кажется самой яркой и контрастной точкой в окружении блёклых и пыльных стен. Но что-то ещё отличает его от однообразной городской палитры. Кажется, понимаю. Шмель абсолютно чист, он сияет чистотой и свежестью, как новенький автомобиль. Жужжа и подрагивая своим грузным телом, он медленно колышется из стороны в сторону, пытается уловить какие-то неведомые нам запахи.

Боже, что это? Сильный щелчок от удара лобового стекла пролетавшего мимо автомобиля подобрал его вверх. Он закружился в воздухе и рухнул на тёмный асфальт! Некоторое время он сосредоточенно ползёт по асфальту, как будто оценивая

свои силы, но затем с усилием поднимается в воздух сантиметров на тридцать, и тут — новый удар. Его отбрасывает на край дороги в придорожную пыль. Теперь тело лежит неподвижно, лапы не шевелятся, но полоски на его спине по-прежнему ярки и красивы. Через минуту струя поливальной машины перемешивает чёрно-желтый комочек с песком и грязью в однородную массу, исчезнувшую под решёткой канализационного люка. Город, как дышащая жаром преисподняя, поглощает инородное тело...

Из подворотни всё ещё тянет тлеющей помойкой. В подъехавшую маршрутку втискиваются люди. Наверное, в эту маршрутку я не влезу, не умею толкаться. Поеду на следующей. Я люблю мой Питер. Но иногда мне кажется, что это любовь лягушки, зачарованно глядящей в глаза огромного удава. Мне кажется, что когда-нибудь он поглотит и меня. Может быть, мне приходят такие мысли потому, что я нездоров. А может, так оно и есть.

Теперь мне страшно от этой мысли. Но больше всего я боюсь, что забуду, куда мне надо ехать. Тогда конец. Надо во что бы то ни стало добраться до цели. Может быть, и в последний раз. Вот ещё одна маршрутка подошла. Пожалуй, не влезу и в эту. Пойду пешком. Мне надо идти до Казанской улицы, это не очень далеко.

Если идти пешком, то можно пройти мимо цирка и полюбоваться им. В детстве дядя водил меня в цирк, и мне это очень нравилось. А с тех пор, как дядя умер, я там не был. Только снаружи иногда смотрю и вспоминаю.

В цирке могут быть на арене одновременно хищники и люди. Никто никого не убивает. Люди не стреляют в зверей, а звери не бросаются на людей. В жизни так не бывает.

Значит, цирк — это очень хорошее место.

А ещё около цирка есть скамейка в сквере, где можно посидеть и отдохнуть. Вот я уже и почти дошёл до неё. Надо немного посидеть. Что-то я сильно разволновался из-за гибели шмеля. Очень не люблю, когда живое вдруг становится мёртвым. Теперь у меня в висках сильно стучит и рябь какая-то в глазах.

На скамейке хорошо. Над ней растут каштаны, и от широких листьев образуется прохладная тень. Дышать здесь легче. Только вот теперь в ушах у меня будто бы вода. Почти ничего не слышу. Люди мимо идут и разговаривают, а я не слышу. Только вижу, как они рты открывают. И листва не шумит, лишь покачивается беззвучно. Наверное, мне лучше прилечь на скамейку.

Две птицы кружатся высоко в небе. Крыльями не машут, а просто парят и кружатся. Наверное, чайки. Как им там хорошо. Так просторно и легко. Никто их там не обидит в небе. Никто не сделает больно. Как бы я хотел тоже так кружиться. Может, я когда-нибудь смогу? Не сейчас. Потом. Теперь-то мне даже не пошевелиться. Тело как будто связано мокрыми простынями, и в груди сильно колет. Наверное, я не дойду сегодня до Казанской улицы. А что делать? Пойти обратно? А если мне не встать?

Вот какие-то два парня склонились надо мной. Курят мне в лицо прямо. Как неприятно. Один присел рядом и смотрит по сторонам. А другой вытащил из моего кармана кошелек и паспорт. Повертел в руках. Паспорт положил обратно, а кошелек забрал. О чём-то поговорили между собой и ушли.

А теперь девушка подошла. Смотрит на меня внимательно и трогает моё запястье. Я это чувствую. Рука у неё холодная и пальчики тонкие. Достала телефон. Звонит куда-то. Ещё несколько прохожих остановились рядом. Поговорили о чём-то и пошли дальше. А меня что-то сильно ударило. Будто кулаком в грудь, и потемнело всё на мгновение. Что это? Никто ведь ко мне не прикасался.

Зато сразу легко стало. Нет больше мокрых тряпок, сковывающих тело. Нет шума в ушах. И ряби в глазах нет. Легко так и свободно. Я всё вижу. Вон он, я... Лежу на скамейке, и девушка рядом стоит. Жёлтая машина подъехала с синим маячком. Как он неприятно сверкает, этот маячок. Два доктора из машины вышли. Что-то делают со мной. А почему я всё это сверху вижу? Как странно...

Я кружусь вместе с чайками над сквером. Могу, как и они, улететь, куда захочу. Как здорово! Теперь можно и на Казанскую улицу слетать и обратно в мастерскую вернуться, не садясь в маршрутку. А из жёлтой машины водитель вышел. Вынимает носилки. Вот они уже втроём меня со скамейки стащили на носилки и в машину кладут. Странно. Может быть, там, внизу, на носилках, не я? А девушка заплакала. Вытирает платочком глаза. Не люблю, когда люди плачут. Не хочу смотреть.

Куда мне теперь? На Казанскую или в автомастерские? Или, может быть, сначала домой? А как красив город с высоты птичьего полёта! Никогда такого не видел. Раз уж я могу двигаться свободно в любую сторону, почему бы немного не полетать? А что бы мне и вправду не покружиться вместе с чайками над Невой? Посмотреть на закат. Всю жизнь мечтал подлететь близко к золотому ангелу на шпиле Петропавловского собора. А потом вернуться в автомастерские. Как же они там без меня? Я их не оставляю. Иногда мне кажется, что это не я, а они, все они очень больны, и я должен им помочь.

Не могу сказать точно, сколько прошло времени, пока я летал, но в автомастерскую я всё-таки вернулся. Там было всё, как прежде, только стало очень грязно без меня. Некому теперь у них убираться, а мусорить они мастера. Теперь я смотрю на них сверху, и мне их немного жалко.

Рабочий день подошёл к концу. Похалюк с Дергачёвым и парнем с автомойки разливают по пластиковым стаканчикам пол-литра, спрятавшись на всякий случай за стойкой оформления заказов. Тучное тело Похалюка не помещается в этом ограниченном пространстве, и его шарообразная спина, перетянутая подтяжками крест-накрест в виде буквы икс, и коротко стриженный колючий затылок торчат из-за стойки администратора. Генка побежал в соседний магазин за колбасой, и собравшиеся уже тихонько матерятся по поводу его медлительности.

— Здравствуйте... — у стойки оформления заказов автомастерской, как из воздуха, появляется невысокая, хрупкая девушка. Никто не слышал, как она вошла, и казалось, что незнакомка возникла по волшебству. За её плечами виднеется огромный чёрный футляр с виолончелью. — Здравствуйте, — тихо повторяет девушка. Её мягкие серые глаза с некоторой тревогой смотрят сквозь огромные линзы очков. Она переминается с ноги на ногу, и старенькие туфельки её не находят себе места на холодном бетонном полу мастерской.

— Мы закрыты, девушка! — с раздражением произносит Дергачёв, выглядывая из-за стойки приёма заказов.

— Все консультации по ремонту завтра, — не поднимая головы, бурчит Похалюк. Парень из автомойки выпивает содержимое пластикового стаканчика и смачно крякает.

— Мне бы дядю Толю найти, — тихо шепчет девушка.

— Вы ошиблись. Тут нет никакого дяди Толи, — наигранно вежливо отвечает парень с автомойки, засовывая в рот пальцами квашеную капусту.

— Он же у вас работает, — робко возражает девушка, — странно.

— Мадам, в нашей организации нет и не было сотрудников с именем Анатолий, — развязно вмешивается Похалюк, которому после выпитого вдруг нестерпимо захотелось общаться, — вы, видимо, перепутали адрес. Это Большой проспект Василевского острова, а есть ещё Большой проспект Петроградской стороны... Вы знаете об этом? Слово «большой» встречается в нашем городе достаточно часто. Как вы вообще относитесь к понятию «большой»? — свинячие глазки слесаря при этом лукаво заблестели. Дергачёв раздражается неприличным хохотом.

— Дядя Толя говорил мне, что работает здесь, — чуть не плача, повторяет девушка, нервно вцепившись тонкими пальчиками в круглую чёрную пуговицу на своём плаще.

— Кем?

— Он... — девушка затрудняется вспомнить. — Я не знаю, наверное, разнорабочий.

— У нас нет разнорабочих, — сухо подытоживает Дергачёв, которому уже хочется закончить диалог и накатить по второй. — Наливайте мужики, что застыли, всё тут ясно, девушка ошиблась.

В этот момент в дверях появляется Аркадий Михайлович.

— Вам кого, девушка?

— Михалыч, мы тут не пьянствуем. Мы чисто символически. На ход ноги бахнули и разбегаемся, — тут же вмешивается Похалюк с оправдательной речью.

Аркадий Михайлович брезгливо берёт двумя пальцами за горлышко начатую бутылку водки и отставляет её на пол рядом с мусорным контейнером.

— Колбасу свою доедайте и марш отсюда! — тихо и скороговоркой бросает он в сторону работников и поворачивается лицом к девушке: — Так вы кого-то ищете?

— Дядю Толю, — уже совсем шмыгая носом, отвечает девушка и вытирает глаза рукавом, — он всегда приезжал двадцатого, а в этом месяце не приехал и не позвонил даже. И телефон выключен.

— Пойдите-пойдите, дядя Толя? Анатолий Петрович? Кузнецов? — девушка утвердительно кивает головой. Шмыгает носом и перестаёт плакать. Трое вышивох, почуввав неладное, застывают в удивлённом ожидании. — А вы кем ему приходиться? — стараясь говорить как можно мягче, спрашивает Аркадий Михайлович.

— Я? Никем. Я сирота из интерната. Когда я была маленькая, дядя Толя проходил мимо нашей детской площадки и увидел, как я на качелях качаюсь. Я тогда сама раскачиваться ещё не умела, а он подошёл и меня научил. Так и познакомились. Он мне всю жизнь помогает. Приезжает каждый месяц и привозит одежду, вещи, продукты. А когда я из интерната вышла, дядя Толя помог мне в музыкальное училище поступить и за учёбу платил. А теперь я в консерватории учусь на бюджетном отделении, и платить не надо, поэтому дядя Толя мне помогал на виолончель накопить. Где он? Может быть, опять заболел? — мужики удивлённо переглядываются. Аркадий Михайлович глубоко

вздыхает и трёт ладонью лоб. — У него, знаете, как бывает? — продолжает девушка. — Память иногда отказывает. Он пока в себя не придёт, ходит по улице долго и может замёрзнуть, а потом болеет. Сейчас-то он не замёрзнет, а вот зимой простужался. Я уж ему и носков тёплых, и шарфов навязала. Нянечка в интернате меня вязать научила. У дяди Толи все свитера мною связаны. Вы, наверное, их видели. Так где же он, мой дядя Толечка?

Дергачёв нервно барабанит пальцами по столу... Хмель его улетучился, и отчего-то продолжать пьянку не хочется. Похалюк удивлённо хлопает глазами. Парень с автомайки, склонив голову, уставился в пол, как нашкодивший школьник.

Аркадий Михайлович бережно берёт девушку под руку и ведёт к своей машине. Через полчаса они уже в крематории на Шафировском проспекте. Тёплый вечерний ветерок ласкает овальное фото, возле которого склонились и слегка колышутся ромашки.

— Вот, — тихо произносит Аркадий Михайлович, — я сделал всё что мог. Чёрный мрамор, надпись — всё как положено. Фото вот другого не нашёл только, — они помолчали. — А знаешь, я ведь ему всю жизнь недоплачивал, — выдавливая с трудом Аркадий Михайлович и садится на скамейку рядом с мраморной плиткой.

— Я знаю, — спокойно отвечает девушка и присаживается рядом, сняв со спины виолончель.

Полевые ромашки трутся о глянцевый чёрный мрамор, словно ласкаясь о тёплый камень, с которого, улыбаясь, смотрю на них я — дядя Толя.

МЕЧТА

Отца своего Андрей не помнил. Зато точно знал, что назван Андреем в честь деда. Мама всегда говорила, что дедушка — единственный настоящий мужчина на этой земле. Правда, дедушку Андрей помнил смутно. В памяти всплывали лишь шершавые золотые звездочки на его погонах и колючая небритая щека этого великана, который поднимал Андрея на руки и с тревогой в глазах долго рассматривал малыша.

Ещё запомнился белый пластиковый шлем военного пилота, который дед часто держал в руках, приезжая в гости прямо со службы. А потом этот шлем положили на большую охапку цветов, и какие-то солдаты все разом выстрелили в воздух так громко, что Андрей сильно испугался. Наверное, он бы заплакал от испуга, если бы не находился в это время на руках у мамы, которая так крепко прижала его к своей груди, что страх тут же прошёл.

Мама всегда говорила, что Андрею нечего в этой жизни бояться. Надо только понимать, что люди бывают разные. Есть умные, а есть такие, кто тоже не дурак, но всё поймёт потом. Андрей запомнил это и не боялся ничего. Даже когда в специальной школе для «детей с особенностями», как там принято было говорить, его дразнили тупым и били большим деревянным транспортиром, с помощью которого на доске чертят мелом фигуры.

Единственная вещь, которая вызывала у Андрея страх, была неведомая ему аббревиатура ПНИ. Мама всегда говорила, что, когда она умрёт, Андрея отдадут в ПНИ (психоневрологический интернат), и тут же начинала плакать. Андрей успокаивал маму. Он ласково гладил её волосы и говорил, что не пойдёт в этот ПНИ, а мама смотрела на него заплаканными глазами и улыбалась.

Андрей очень любил, когда мама улыбается. Чаще всего это происходило, когда они вместе ложились перед сном в кровать и мечтали вслух. Андрей мечтал о большом шоколадном прянике, который никогда не черствеет и не портится. Чтобы можно было каждый день отрезать от него по кусочку на завтрак. А мама мечтала о какой-то деревне, под названием Михайловка, где прошло её детство. Она говорила, что там невероятно красивые луга и пахнет свежескошенной травой. Там такие цветы, каких Андрей никогда не видел, а по вечерам там поют в рощах соловьи, и люди там все добрые и простые, не то что здесь, в городе.

Мама говорила, что там её родина, но вернуться туда нельзя, потому что родительский дом сгорел и жить негде. А чтобы построить новый домик, у мамы недостаточно денег. Правда, есть надежда, что если Андрей подрастёт и сможет оставаться один дома, то мама сможет найти другую работу и скопить деньги на строительство маленького домика на берегу реки в Михайловке.

Мама говорила, что если эта мечта сбудется, то она будет счастлива, потому что там, в Михайловке, все помогают друг другу, и даже если она умрёт, то Андрея там не бросят и не отдадут в ПНИ. Мама всегда улыбалась, когда вспоминала про Михайловку, и Андрею очень нравились эти мечты.

Он очень хотел оставаться дома один, чтобы мама могла больше работать, и совсем не боялся этого. Только вот мама боялась. Ей очень не понравилось, когда Андрей в её отсутствие решил однажды наполнить ванну. Вообще наполнять ванну Андрей умел. Для этого нужно было лишь заткнуть слив пробкой и включить тёплую воду. Но в отсутствие мамы Андрею понравился маленький водопадик, который получился, когда вода стала потихоньку выливаться через край, и он долго наблюдал за тем, как вода течёт на пол.

Ещё маме не нравилось, что Андрей ест всё то, что лежит в холодильнике. Вернее, мама всегда радовалась, глядя на то, как Андрей кушает, но она очень расстраивалась, когда Андрей сам доставал из холодильника еду. Она даже плакала однажды, когда Андрей съел пачку фарша, купленного для приготовления котлет. Мама говорила, что фарш был сырой и кушать его было нельзя, но Андрей не очень понимал, почему мама так расстроилась. Ведь утром они вместе ели сырые бананы, и ничего страшного не произошло.

Однажды у Андрея был день рождения. Мама говорила, что в этот день сообщит Андрею какую-то очень приятную новость. Он целый день томился в ожидании. Вечером мама вернулась домой с огромным тортом. Андрей всё хотел поскорее узнать новость, но мама улыбалась, и Андрей готов был ждать сколько угодно, лишь бы подольше видеть мамину улыбку. Наконец мама установила на торт восемнадцать свечей и торжественно объявила Андрею, что как раз в день его рождения она нашла новую хорошую работу, и теперь они очень быстро скопят деньги на домик в Михайловке.

Андрей от радости захлопал в ладоши и запел свою любимую песню про волшебника в голубом вертолёте, который подарит пятьсот эскимо. А мама говорила, что прежде чем идти на новую работу, ей нужно покрасить волосы, чтобы не было так видно седину. Ведь теперь ей надо очень хорошо выглядеть, и Андрей не должен пугаться изменению её внешности. Когда мама прокрасилась, Андрей был в восторге. Не то чтобы ему нравился новый мамин облик — скорее, он был счастлив потому, что мамино лицо светилось радостью.

Теперь каждое утро, уходя на работу, мама оставляла Андрею задание. Из целой пачки рекламных журналов Андрей должен был выбрать страницы, где есть красивые дома, и аккуратно вырезать их ножницами. Андрей старательно вырезал домики и к маминому приходу складывал их в пачку, поглаживая рукой. Он гордился своей работой и видел, как мама рада тому, что он выполнил ответственное поручение. Жизнь явно благоволила им, и мама с каждым днём становилась всё увереннее.

Андрей, увлечённый своим делом, достиг невероятной аккуратности в вырезании разных картинок, и мама уже не просила вырезать именно домики. Она просто была рада тому, что Андрей ей показывал. Мама особенно любила слушать его рассуждения о вырезанных картинках. Андрею же представлялось необыкновенно важным рассказать в конце дня о том, почему и как он вырезал из журнала эти картинки. Ему нравилось счастливое лицо мамы, слушающей его высказывания.

Так было до того дня, когда мама пришла домой в слезах. Она с порога рассказала Андрею, что с её карты украли все деньги, которых уже почти хватало на дом в Михайловке. Сказав это, мама упала на кровать, и её страшные рыдания напугали Андрея. Не понимая, что с ним происходит, Андрей начал метаться из угла в угол, нервно размахивая руками над головой. Он чувствовал, что этот мир рухнул, и нет никаких возможностей вернуть его обратно. Отчаяние захватывало Андрея всё больше и больше. В какой-то момент он вдруг почувствовал тёплые руки матери, крепко прижавшие его к себе. В сознании промелькнул ароматный пряник, воображаемый домик в Михайловке и родной запах мамы, который поставил финальную точку в этом неприятном мелькании резких чувств и ощущений. Больше всего на свете Андрей хотел, чтобы подобное больше не повторилось никогда.

— Мама, а больше у нас не будут воровать деньги с карты, которые мы копим на наш домик? — спросил Андрей на следующее утро за завтраком.

— Нет, сынок. Больше не будут. Я буду хранить все деньги дома, и ты будешь охранять нашу мечту. Правда, мой хороший?

— Конечно, мама, я буду очень хорошо охранять. Только, пожалуйста, не надо больше плакать.

— Я не стану. Мы начнём всё заново, и ты мне поможешь, правда?

— Я буду вырезать все картинки, которые ты мне дашь, и постараюсь очень аккуратно. Это ведь поможет нашей мечте?

— Конечно, поможет, милый. Ты даже не представляешь, как я теперь буду спокойна на работе, зная, что ты так увлечён вырезанием картинок. Ты — моё счастье. Я безумно люблю тебя, и пусть все говорят, что ты ничего не понимаешь. Я-то знаю, что ты понимаешь всё. Понимаешь больше, чем понимают другие. Просто ты видишь мир

иначе, и нет в этом твоей вины. Ты можешь нести людям добро. А это могут не все.

Андрею нравилось, когда мама так говорила. Он старался делать всё, что просит мама, чтобы больше не расстраивать её.

Однажды, вырезав все картинки из журнала, Андрей немного заскучал. Ему понадобился новый материал для его работы, и он открыл шкаф в поиске новых журналов. Обнаружив в шкафу мамину сумочку, он нашёл в ней целую толстую пачку одинаковых оранжевых бумажек, перетянутых тонкой резинкой. На этих бумажках с одной стороны был изображён красивый мост, а с другой — памятник какому-то человеку. Андрей некоторое время думал, что интереснее вырезать, мост или памятник? Мост показался интереснее, и Андрей с воодушевлением принялся за работу.

К маминому приходу всё было закончено, но какое-то необъяснимое чувство тревоги не оставляло Андрея. Ему припомнилось, что он видел, как мама забирала похожие бумажки в банке и бережно прятала их в сумочку. Когда мама вернулась с работы и увидела, что произошло, она не плакала. Просто присела на стул и долго молчала, а потом пошла на кухню и что-то сделала с газовой плитой, отчего в квартире стало очень неприятно пахнуть. Сначала Андрей испугался этого запаха, но мама обняла его и, уложив вместе с собой на кровать, стала шептать непонятные слова. Эти слова часто повторились, но Андрей так и не смог понять их смысл. Он спросил у мамы, но она лишь закрыла глаза и продолжала шептать.

Вскоре Андрей почувствовал, что засыпает, носом он казался тяжёлым и неприятным. Постепенно нарастающий шум в ушах не давал Андрею заснуть. Тем временем мама перестала шептать и замолчала. Андрей хотел спросить её, что будет дальше, но язык его не слушался. Почти провалившись в сон, Андрей услышал, как кто-то сильно барабанит в дверь квартиры. Он хотел разбудить маму, но почему-то не мог пошевелиться. Через некоторое время раздался очень сильный треск, звон разбитых стёкол и громкие голоса. Андрей увидел перед собой дядю Славу из соседней квартиры и ещё каких-то людей в странной грубой одежде и серебристых касках. Дядя Слава тут же подхватил маму на руки и вынес её на улицу. А остальные люди в касках открыли все окна и вынесли на улицу Андрея. Там Андрею сразу стало лучше, к тому же его окружили соседи, которые наперебой что-то говорили, стараясь отвлечь Андрея от ярко-жёлтой машины с красным крестом, куда только что унесли маму.

Когда всё само собой утихло, дядя Слава забрал Андрея к себе домой. Он познакомил Андрея с большим лохматым белым псом Ричардом и чёрной кошкой Дианой, которые жили вместе с дядей Славой и были его семьёй. Андрей очень волновался и спрашивал, когда вернётся мама, но дядя Слава объяснил, что маме сейчас очень нужно отдохнуть и до её возвращения Андрей поживёт в гостях у Ричарда и Дианы.

Андрею нравилось, что дядя Слава жарит очень вкусную картошку и много рассказывает о животных. Он говорит, что все животные его братья и всегда понимают его. А вот люди, наоборот, очень часто дядю Славу не понимают. Андрею казалось это занятным, потому что он сам не понимал, что говорят животные. Правда, и людей понимал не всегда.

Ещё дядя Слава говорил, что мама — ангел. Это очень нравилось Андрею, потому что он знал, что ангел — это кто-то очень хороший. А кто мог быть лучше мамы?

Через несколько недель вернулась мама. Она была так рада встрече с Андреем, что долго не могла выпустить его из своих объятий. А потом потянула его гулять в парк, где рассказала ему, что за последнее время очень много разговаривала с дядей Славой и безумно удивлена, что совсем не знала его раньше. Оказывается, дядя Слава — ветеринар. Это такой доктор, который подбирает на улице больных животных и лечит их, так объяснила мама.

Ещё она рассказала, что дядя Слава очень хороший человек и давно мечтает уехать из города в деревню, чтобы построить там ферму и разводить лошадей. Просто раньше у него не было для этого хороших друзей и помощников, а теперь он предложил маме и Андрею ехать с ним, и она согласилась. Дядя Слава обязательно научит Андрея ухаживать за лошадами, и у него будет серьёзная взрослая работа.

Андрей слушал маму и облизывал сладкое эскимо на деревянной палочке. Все мечты обязательно рано или поздно сбываются, думал Андрей, и душа его ликовала.

Неожиданно страшная мысль промелькнула в голове Андрея. Он выронил из рук недоеденное мороженое и испуганно посмотрел на маму. Глаза Андрея были полны тревоги, он чуть не плакал.

— Мама, а как же Ричард и Диана? Мы же не оставим их здесь?

Мама рассмеялась и обняла Андрея.

— Конечно, не оставим, милый. У них тоже все мечты сбываются. Дядя Слава уже с ними договорился.

КРАСНАЯ СКРИПКА

Республика Крым. Судак. Улица Ленина. Чёрный обелиск с непонятной витиеватой надписью на татарском языке. На ступеньках у подножья этого камня — маленький сухой старик в расшитой разноцветными нитями татарской тубетейке. Глаза его закрыты — он играет на скрипке. Я бросаю мелочь в раскрытый у ног старика скрипичный футляр.

Это дедушка Энвер. Мы с ним знакомы уже третий день. Меня привлекла его странная скрипка. Зачем-то Энвер выкрасил её в ярко-красный цвет. Загорелые, изрезанные глубокими морщинами руки Энвера выводят незатейливую мелодию. Звуки скрипки то пронзительно стонут нестерпимой болью, то тихо грустят, переливаясь горным эхом, то словно зовут и ищут кого-то, давно потерянного на каменистых Крымских дорогах.

Мелодия вращается по замкнутому кругу. Медленно и плавно, как стальное колесо стальной вагона в мае тысяча девятьсот сорок четвёртого. Вот он, маленький Энвер, стоит возле железнодорожного состава, прижимая к груди скрипку. Он смотрит широко раскрытыми чёрными глазами на мать, которая, стоя на коленях, долбит в земле небольшую ямку. Нет. У этой мелодии есть начало, и оно не здесь.

Начало этой музыки — в ноябре тысяча девятьсот сорок первого, когда в село, где жил маленький Энвер, вошли немцы. Местные жители толпами высыпали на улицы, чтобы посмотреть на немецкие колонны. Женщины боязливо жались к стенам своих жилищ, смотрели исподлобья, боялись нечаянно встретиться взглядом с одним из этих серых, как будто металлических существ. Старики с тревогой выглядывали из окон домов. Лишь вездесущие мальчишки, сидя на заборах, с любопытством рассматривали здоровенных немецких лошадей, тянувших за собой орудия на чёрных резиновых колёсах.

Они шли и шли мимо дома Энвера нескончаемой вереницей, наполняя улицу запахом пороха и гари. Их грубая, непонятная речь казалась Энверу каким-то страшным проклятием, произносимым во весь голос, над его родным селом.

На мгновение колонна остановилась, и Энвер увидел напротив себя очень молодого солдата лет восемнадцати, сидевшего на лафете орудия. Новобранец заметил взгляд Энвера, и его поза тут же приобрела наигранную важность, а щёки покраснели румянцем.

Немцы расклеили по всей улице объявления на русском и татарском языке, но Энвер, закончивший перед войной лишь первый класс, никак не мог понять этих мудрёных слов.

— Мама, а что значит автономия и социальная справедливость? — спрашивал Энвер.

— Это значит, что они обещают нам счастливую жизнь, — отвечала мать с грустью и тревогой в глазах.

— А ты им не веришь, да? Потому что наш папа ушёл с ними воевать? А если они узнают, что наш папа воюет в Красной армии, они не убьют нас?

— Не знаю, милый, что будет, то будет. Старайся поменьше об этом говорить.

Мать в тот же день убрала подальше висевшую на стене фотографию мужа в военной форме, а Энвер вспомнил, что после ухода отца на фронт он остался старшим мужчиной в семье и должен заботиться о младшем брате Нари и крохотной сестрёнке Фати.

В первый же день немцы начали делать жизнь Энвера счастливой.

Они забрали всё заготовленное на зиму продовольствие, зарезали козу с козлятами и всю птицу. Оставался лишь мешок муки да корова, половину надоя от которой нужно было отдавать в местную управу.

На второй день во двор Энвера заехала легковая машина. Энвер и Нари с удивлением смотрели на этот диковинный аппарат. Из автомобиля вышел долговязый и очень худой офицер в начищенных до блеска чёрных сапогах и новенькой серой форме с орлом на груди. Его светлые волосы были зализаны назад, а круглые очки в тонкой оправе то и дело сверкали ослепительными бликами.

Офицера звали Готфрид. Он бесцеремонно поселился в доме Энвера, занимая все комнаты, кроме самой маленькой полуподвальной, куда и перебрались мама с Энвером, братом Нари и грудной сестрёнкой Фати.

С наступлением зимы полевые работы прекратились, школа закрылась, и, когда матери не нужна была помощь Энвера по хозяйству, он старался убежать к дяде Айдару, маминому старшему брату.

Дядя Айдар потерял ногу ещё в Первую мировую войну и немцев откровенно недолюбливал. Зато руки у дяди были золотые. Со всего села несли к нему в починку

патефоны и примуса, обувь и инструмент. Когда ещё до войны в колхозе ломался единственный трактор, никто не смел вмешиваться в процесс ремонта. Посылали за Айдаром и терпеливо ждали, пока тот на своих костылях прибудет к месту поломки.

Ещё дядя Айдар был известным весельчаком. По выходным он играл на своей скрипке в сельской чайхане. На его импровизированные концерты непременно собиралась вся округа. Энвер был беззаветно влюблён в дядину скрипку, и Айдар потихоньку учил племянника премудростям игры на этом инструменте.

При немцах дядя Айдар начал играть в чайхане каждый вечер. Поговаривали о связях дяди с партизанами, но Айдар всячески отрицал подобные слухи. Он изо всех сил старался угодить собиравшимся послушать его игру немецким офицерам. Вскоре по вечерам на его концерты в чайхане стало собираться чуть ли не всё расквартированное поблизости немецкое командование. Бывший колхозный сторож Борзунов, не призванный в Красную армию в силу преклонного возраста, окрестил дядю немецкой подстилкой, что, впрочем, не мешало Айдару каждый вечер зарабатывать в чайхане свой кусок хлеба.

Всю зиму Энвер брал у дяди уроки игры на скрипке и неплохо преуспел в этом обучении.

Однажды весной, в день своего рождения, дядя Айдар пришёл на концерт в чайхану с огромным фанерным чемоданом. На вопросы о его содержимом Айдар заявил, что в день своего рождения будет угощать после концерта собравшуюся публику брагой. В тот вечер в чайхане яблоку было негде упасть. Все немецкие фуражки не помещались на старой вешалке. Их бросали на подоконниках и столах.

В середине концерта дядя неожиданно объявил антракт и вышел на улицу закурить папиросу. Прикурив, Айдар спокойно повесил скрипку на плечо и, взяв поудобнее костыли, поковылял по улице прочь.

Когда дядя удалился от гудевшей чайханы на внушительное расстояние, раздался оглушительный взрыв такой силы, что куски красной черепицы с её крыши находили потом далеко за пределами села.

Началась невероятная паника. Туда-сюда сновали немецкие грузовики, солдаты палили из автоматов по кустам в полумраке, кто-то пытался тушить начавшийся пожар. Столпотворение продолжалось до полуночи.

Тем временем дядя Айдар, проходя мимо дома Энвера, торжественно вручил ему свою скрипку.

— Держи, брат! Береги её. Это тебе в честь моего дня рождения.

— Что там случилось, Айдар? — испуганно спросила мать.

— Праздник, — усмехнулся дядя Айдар и, переложив папиросу из одного угла рта в другой, зашагал прочь. На следующий день нацисты объявили, что если жители не выдадут властям устроивших взрыв партизан, то каждый день будет расстреляно по десять жителей села. Для начала они схватили первых попавшихся на улице женщин и стариков.

Их заперли в колхозной конюшне в ожидании исполнения приказа.

Улицы мигом опустели. Из разных концов селения то и дело доносились причитания и стоны. Ночь прошла в состоянии гнетущего страха. Наутро на улице послышались голоса. Прошёл слух, что партизаны пойманы и можно выходить из домов. К обеду Энвер с матерью решились пойти на рынок, чтобы сменить крынку молока на муку.

На площади у рынка появилось странное сооружение, похожее на турник из физкультурного зала школы. Только сделано это творение было из неотёсанных досок.

Подойдя ближе, Энвер увидел, что с перекадины свисает верёвка, на которой болтается человеческое тело. По отсутствию правой ноги Энвер узнал дядю. Голова его опустилась на грудь, и лица было не видно. Запястья связаны за спиной колючей проволокой.

Мать в оцепенении застыла посреди площади, разведя руки в стороны. Она хотела подойти к брату ближе, но боялась. Хотела куда-то бежать, но не знала — куда. Что-то делать, но не знала — что. На лице её застыл ужас. По щекам градом катились слёзы.

Энвер постарался как можно быстрее увести маму домой. Там она весь день лежала без движения на кровати, отказываясь что-либо делать. Под вечер её привела в чувства своим криком маленькая голодная Фати.

Наутро в комнату заявился Готфрид. С помощью одетого в нацистскую форму уроженца соседнего села Басыра, перешедшего на службу в гитлеровскую полицию, он объяснил, что выселяет хозяев из дома в хлев, потому что теперь проживание офицера в одном доме с местными жителями запрещено.

Мама перенесла самые необходимые вещи в хлев, и семья Энвера заняла там место, освободившееся после потери козы с козлятами. Зато корова теперь была совсем рядом и радостно тянула морду, удивлённо рассматривая всех своими большими добрыми глазами.

По вечерам Энвер играл на скрипке то, что успел выучить с дядей. Он усвоил главный дядин постулат, который тот повторял многократно. Душа руководит рукой — рука руководит инструментом — инструмент питает душу.

Эти слова были для Энвера куда понятнее социального равенства и автономии.

Мама, слушая игру Энвера, качала головой:

— Весь в Айдара, Господи, что ты сделаешь в юности, мой сынок? Вот вы бедовые все у меня!

Ничего страшного сделать Энверу в ближайшее время не пришлось. Жизнь их семейства при оккупантах становилась всё суровее. Виселица на площади наполнялась каждый день всё новыми и новыми людьми. В небе стали появляться самолёты с красными звёздами. Это приводило в бешенство расквартированных в посёлке офицеров...

Готфрид со своим адъютантом ежедневно уплетали тушёнку. Пустые жестяные банки выкидывались ими через окно во двор дома. Когда банок во дворе скопилось достаточно много, маленький Нари нашёл им применение.

Он пробил их днища гвоздём и связал несколько банок одной верёвкой, устроив, таким образом, воображаемый поезд. Нари таскал его за собой по двору. Банки гремели, и Нари чувствовал себя настоящим железнодорожником. Таким же, как другой его дядя Карим, который был машинистом до войны, но при оккупантах пустил свой состав под откос, пожертвовав при этом собой.

Игры Нари с банками раздражали Готфрида. Целыми днями он сидел во дворе и писал какие-то бумаги. Сидя на невысокой скамейке и растопырив в разные стороны свои длинные ноги в начищенных сапогах, немец был похож на большого паука, с маленькой головой в сверкающих на солнце очках.

Когда в очередной раз Нари подобрал возле сапог Готфрида пустую банку, тот нервно вскочил на ноги и выхватил из кобуры маузер. Ничего не подозревавший Нари мирно ковырял банку гвоздём. Прогремел выстрел. От испуга мальчик упал на землю. Банки раскатились в разные стороны. Готфрид ещё два раза пальнул в воздух, завершив урок фразой:

— Kennen Sie Ihren Platz, Schwein¹.

Маленький Нари поднялся с земли, вытер нос и ушёл, унося свой паровозик с таким взглядом, от которого Готфриду стало ясно, что в Крыму никогда не будет для немцев спокойной жизни.

Готфрид снял очки, провёл ладонью по лицу и посмотрел на запад. Какое-то ругательство слетело с его уст. Он вынул из кобуры протирку и начал драить свой маузер.

Почти три года виселица на площади урынка ежедневно наполнялась повешенными. Три года карательные отряды жгли сёла и угоняли жителей полуострова в рабство. Изымали у местного населения всё продовольствие и скот, обрекая на голод стариков и детей.

Каждый день мимо дома Энвера под конвоем Басыра проводили арестованных. То за укрывательство еврейских детей, то за утайку килограмма муки, то за исполнение вслух советской песни. Арестованных вели в комендатуру. Обратного не возвращался никто. Все знали, что эта дорога всегда только в один конец.

Однажды мимо дома Энвера гнали стариков Ахметовых с соседней улицы. Их дочь, татарка, вышла замуж за еврея, и внучка была наполовину еврейкой. Кто-то из соседей за стакан муки сообщил об этом властям. Полицаи пришли арестовать трёхлетнюю внучку. Старуха Ахметова схватила внучку на руки и упала на колени перед карателями. В слезах она умоляла оставить ей ребёнка. Те цинично предложили ей пройти в комендатуру самой. Все понимали, что это значит, но женщина не смогла отдать фашистам ребёнка и пошла. За ней пошёл и старик Ахметов.

Их так и гнали по улице троих. Босых и полураздетых. Впереди растрёпанная старуха с плачущим ребёнком на руках, за ней седой старик, почерневший от горя, а следом Басыр с подаренной немцами губной гармошкой.

Назад Басыр возвращался один. Он был навеселе и задорно подмигнул Энверу, сидящему на заборе.

— Не захотели сдать жидовку? Вот и сгинули из-за неё. А я-то что? — сказал Басыр, будто оправдываясь. — Тоже мне, малахольные.

Со временем в голове Энвера всё чаще возникали мысли о партизанах. Говорили, что четырнадцатилетний Салават из соседнего дома ушёл к партизанам и теперь воюет где-то в горах.

За последнюю зиму, несмотря на постоянный голод, Энвер вырос на целый вершок. Он ненавидел оккупантов, и ему страсть как хотелось уйти к партизанам.

¹ Знай свое место, свинья (нем.).

Но как оставить мать, сестру и брата? Отец велел беречь их, ведь Энвер теперь был старшим мужчиной в семье.

Всё чаще он доставал подаренный отцом перед войной охотничий нож. Энвер вынимал его из кожаных ножен, любуясь сверкающей сталью лезвия и костяной рукоятью с бронзовыми вставками.

Конец всему пришёл неожиданно. В мае тысяча девятьсот сорок четвёртого оккупанты начали поспешно собираться. День ото дня их отступление приобретало всё более хаотичный характер, и к середине дня пятнадцатого мая в селе воцарилась полная тишина.

Семья Энвера перебралась обратно в свой дом. Первыми были сожжены в печи все оставшиеся от нацистов листовки. Вернулся на место и портрет отца. У Энвера родилась в тот вечер новая, прекрасная мелодия. Он был несказанно рад, что какая-то рука свыше даёт ему эти звуки и помогает его пальцам их исполнять.

Под утро по улицам села зашагали красноармейцы. Они были худы, оборваны, но веселы и приветливы. Родная русская речь воодушевляла. Им несли молоко, хлеб, а у кого не было ничего, протягивали просто воду. Бойцы с радостью пили воду и целовали выбежавших к ним женщин. Поднимали на руки детей. Обнимали старух.

Всё это очень быстро кончилось.

Под вечер все улицы были оцеплены бойцами в фуражках с синим околышем. Эти люди уже не были разговорчивы. Их лица были сытые, холёные и не располагали к общению. Появление этих людей вообще было странным и не вписывалось в ту картину борьбы за свободу, которую представлял себе Энвер.

Ночью в окно дома Энвера раздался стук. Испуганная мать в одном белье открыла дверь и тут же была прижата к стене автоматом ППШ.

— Кто живёт в доме? Сколько вас? Есть лица мужского пола?

В испуге мать назвала имена Энвера и Нари. В эту минуту в комнату ворвались ещё четверо солдат, но, убедившись, что это дети, они быстро покинули дом.

Остались лишь двое. Маленький сухой почти старик и крупный молодой рыжеволосый парень. Они объявили, что всем предписано в десять минут собраться и покинуть дома.

Рыжеволосый солдат бесцеремонно начал рыться в вещах и тут же закинул себе в карман мамины серьги, обнаруженные им в комодке. Увидев это, мама вскрикнула и хотела что-то возразить, но холодный и наглый взгляд солдата и чёрное дуло автомата, направленного в лицо матери, заставили её замолчать. Пожилой солдат с негодованием обратился к здоровяку, но тот лишь оскалился кривой улыбкой и продолжал грабить.

Мать успела взять документы, фотографию отца и небольшой свёрток муки. Быстро запеленала Фати, накинула шаль и выскочила на улицу. Энвер, конечно же, взял скрипку, сунул за пазуху подаренный отцом нож в кожаном футляре, схватил за руку брата и последовал за мамой.

Улица уже была полна людей. Соседка Авдеева, бывшая женой председателя колхоза татарина Султана, ушедшего добровольцем на фронт, на чём свет стоит материла конвой.

— Что же вы, аспиды, делаете? Кто это придумал выселять людей без разбора? Совесть у вас где? Сволочи. Я член партии с девятнадцатого года, в гражданскую воевала. Я самому Сталину писать на вас буду, гниды тыловые.

— Мама, а кто такие гниды тыловые? — спросил Нари.

— Это плохие люди. Не повторяй больше никогда эти слова, сынок.

— Они предатели? Немцам помогают? Их Готфрид прислал? — не унимался Нари.

— Я не знаю точно. Нам нужно молчать. Не говори, пожалуйста, ничего. Пойдём, куда они скажут.

Всех сгоняли на рыночную площадь, где всё ещё красовалась построенная фашистами виселица.

— Почему они не разрешают нам брать с собой вещи? — раздавались вопросы в толпе.

— Нас расстреляют, — обронил кто-то.

— Не может быть, — загудели в толпе, — окопы рыть повезут, рабочая сила нужна.

— Какая тут сила, старухи да дети, — возражали другие.

— Не могут советские люди своих расстрелять, это же не фашисты, — успокаивали третьи.

— Я на вас всех самому Сталину напишу! Под суд пойдёте! — продолжала орать Авдеева.

Тем временем на площадь подогнали грузовики. Откинули борта, скомандовали садиться.

— Да что вы, в самом деле? Озверели? — заорал седой старик, опиравшийся на деревянную палку. — Мне девяносто два года. Зачем мне ехать? Дайте мне спокойно

помереть в своём доме.

— А ну пошёл в машину, дед, — приказал офицер и приблизился к старику.

— Я не поеду! — истошно заорал старик и замахнулся палкой на офицера.

Раздался треск автоматной очереди. Двое солдат тут же отволокли тело убитого в сторону, к забору.

На площади воцарилась тишина. Люди молча и поспешно лезли в грузовики. Одна за другой машины покидали площадь. Последним подняли борт у полуторки, в которой был Энвер. Водитель завёл двигатель.

В этот момент Нари, усевшийся было возле матери, вскочил на ноги.

— Паровозик! Я забыл дома свой паровозик! — Нари с ловкостью мартышки перескочил через дощатый борт машины и кинулся к дому.

На руках у матери была Фати, и она не успела остановить сына. В её глазах застыл ужас.

— Нет, Нари, нет! — заорала она так, что сидевшие рядом люди невольно пригнули головы.

Мать бросила Фати на колени Энверу и вскочила, подбирая подол юбки, чтобы вылезти из кузова.

Стоявший ближе всех конвойный лягнул затвором автомата и прицелился. Нари со всех ног бежал к дому. Конвойные, стоявшие по краям площади, уже начинали расходиться, но один из них ещё не успел покинуть своего места. Это оказался тот самый здоровяк, прихвативший серьги. Ударом приклада он сбил с ног бежавшего мальчишку. Нари скатился в придорожную канаву и зачих. Двое других тут же вытащили тело мальчика и бросили его обратно в грузовик.

Мать схватила Нари и прижала к себе. Он тяжело дышал широко открытым ртом. Глаза его рассеянно смотрели в серое небо. Удар пришёлся в висок. Над ухом мальчика расплзлось огромное фиолетовое пятно. Мать трясла Нари, пытаясь услышать его голос, но брат ничего не отвечал.

Спустя несколько часов машины приехали на железнодорожную станцию. Грузовики подогнали вплотную к вагонам теплушкам для перевозки скота и быстро перегнали туда людей. В толпе начали осторожно переговариваться.

— Не расстреляют. Иначе, зачем так далеко везти?

Вагон, в который погрузили Энвера, был изрешечён пулевыми отверстиями, как сито. Сквозь эти дыры внутрь пробивались лучи восходящего солнца. Измождённые и голодные люди вповалку набились в вагон. Людей было столько, что лечь можно было, лишь сильно поджав под себя ноги. Стояла невероятная духота. Мать оторвала подол юбки и перевязала голову Нари. Мерный стук колёс погрузил всех в тяжёлое и душное марево сна.

Энвер очнулся, когда оранжевое от заката небо показалось в узеньком, закрытом решёткой оконце под потолком вагона. Густой тягучий смрад наполнил собой воздух. Энвер почувствовал, что к этой удушающей тяжести добавился какой-то новый, незнакомый, резкий и пугающий запах. С каждым часом этот запах усиливался. Людей мучала жажда. Воды не было.

На второй день в полу вагона выломали узкую дыру, ставшую для всех отхожим местом. Пробираться к ней нужно было ползком, по телам людей, которые иногда поджимали ноги, позволяя проползти, а иногда лежали неподвижно, не чувствуя чужих прикосновений.

Вскоре тяжёлый запах стал нестерпим. Энвер заметил, что вокруг старушки, лежащей неподвижно неподалёку, образовалось узенькое свободное пространство. Все старались не прикасаться к ней и отворачивали лица. Её накрыли с головой какими-то тряпками, но страшный смрад по-прежнему усиливался.

Наутро третьего дня пути вагон встал. В наступившей тишине Энвер вдруг услышал жужжание невероятного количества мух. Они облепляли тела людей, потерявших силы отмахиваться. На улице слышались голоса конвойных. Обессилевшие люди начали стучать в стены вагона. Просили пить.

Через некоторое время дверь приоткрылась. В неё просунули бидон мутной воды и выгрузили из вагона умерших. Таких оказалось четверо. Дышать стало чуть легче, но теперь к путникам пришла новая беда — голод.

Многие были на грани истощения и до выселения, ещё при немцах. Утром, открывая глаза, Энвер тут же чувствовал, как начинает ныть в животе. Затем это ощущение нарастало, и появлялась непрекращающаяся боль, будто какой-то зверь рвал его изнутри когтями. Многие люди начинали сходить из-за этой боли с ума. Постоянно старались хоть что-нибудь съесть, наполнить желудок. Подолгу жевали ремни и куски кожаной одежды. Когда давали бидон тёплой воды, становилось легче. Энвер ощущал, как жидкость заполняет всё внутри, и это ненадолго приносило успокоение.

На четвёртый день состав сделал короткую остановку на маленьком полустанке

в голой степи. Двери вагонов открыли, и людям разрешили выйти. Полустанок был оцеплен плотным кольцом конвоя. Из нескольких полевых кухонь раздавали по черпаку еле тёплой жидкой баланды, но и она быстро закончилась. Хватило лишь тем, кто смог первым выбраться из вагонов.

Через полчаса всех загрузили в поезд, и путь в неизвестность продолжился. Никто не мог точно ответить, куда и зачем везут этих несчастных женщин, стариков и детей. Раз или два в сутки состав останавливали в безлюдном месте. Конвой пересчитывал пассажиров. Умерших от голода или болезней выносили из вагонов и оставляли у полотна дороги. Живым разливали по черпаку баланды и снова распределяли по вагонам.

За несколько дней Энвер, слушая разговоры конвойных, выучил имена многих из них. Рыжеволосого вора звали Голубь, а его маленького пожилого напарника — Каменьков. Энвер возненавидел Голубя. Засыпая, он представлял себе, как товарищ Сталин расстреливает из пулемёта врагов народа. Враги, в виде буржуев и фашистов, выстраивались в огромную очередь. Первый в ней стоит Голубь, нагло смотрящий на товарища Сталина. После воображаемой казни Голубя сон сразу одолевал Энвера, глаза слипались, и под мерный стук колёс он проваливался в тёмную пустоту.

На пятый день пути мать сняла повязку с головы Нари. Пятно на его виске стало чёрным и превратилось в большую безобразную вмятину. Все эти дни он ничего не ел и лишь просил пить. Казалось, что Нари ничего не слышит, потому что он не отвечал на вопросы и не поворачивался на голос. На ближайшей остановке мама попросила Каменькова найти врача.

— Эх, дочка, откуда же тут, в степи, врач? Здесь и фельдшера-то за сто километров нет. Вот потерпи, доберёмся до Уральска, так там, может быть, сыщется. Я уж поспрашиваю, — Каменьков достал из-за пазухи краюху хлеба и, отломив половину, протянул её матери. — На вот, поешь сама-то да пацанов своих покорми. А то одни глаза остались, исхудали совсем. Вот оно, видишь, как.

Каменьков провёл ладонью по затылку, и его глаза с тоской устремились куда-то вдаль, поверх запылённых вагонов.

В Уральске поезд не остановился. Состав проходил без остановок все крупные города и часами стоял на пустынных разъездах.

На следующей станции Каменьков привёл к Нари полного солдата с красным небритым лицом.

— Вот, дочка, это Степан. Он в госпитале медбратом был. Пусть хоть посмотрит сынишку. Другого всё одно тут не сыщем.

Степан долго разглядывал висок Нари под разными углами. Осторожно касался пальцем его головы и тревожно вздыхал.

— Не знаю я. В госпиталь надо. Плохо тут дело, — заявил Степан.

— Эх ты, Господи. Вот оно, видишь, как, — тяжело вздохнул Каменьков.

— Обещал махорку за осмотр, так давай сыпь, — немного стесняясь, пробурчал Степан.

Каменьков вынул из кармана кисет и отсыпал Степану махорки. На следующее утро Энвер проснулся от странного режущего ухо звука. Поначалу ему показалось, что поезд сошёл с пути. Это был протяжный и пронзительный не то вой, не то скрежет. Открыв глаза, он увидел, что все вокруг взволнованно смотрят на них с матерью. Фати лежала на полу, а мама держала на руках Нари. Она раскачивалась из стороны в сторону, издавая этот страшный и неведомый доселе Энверу звук. Только сейчас Энвер понял, что мама рыдает.

Какая-то старуха начала нараспев читать молитву. Говорили, что в соседнем вагоне едет старик, бывший мулла. Надо бы на ближайшей остановке его позвать.

Под вечер поезд остановился. Звали муллу. Но оказалось, что он настолько слаб, что уже не может выйти из вагона. Вместо него пришёл дежурный офицер НКВД и, полистав какой-то журнал, вычеркнул из него карандашом одну строчку. Так он делал каждый раз, когда в вагоне кто-то умирал.

До этого умерших просто оставляли вдоль железной дороги. Хоронить не было ни времени, ни возможности. Нари стал первым.

Каменьков раздобыл где-то лопату и выдолбил в затвердевшем песке небольшую яму. Глядя на то, как Каменьков копает, дежурный офицер вопросительно поднял брови.

— А что это ты, боец Каменьков, с врагами народа всё якшаешься, как я погляжу? Подкармливаешь. Похороны им устроил. Мало тебе было одного штрафбата? Не угомонишься никак? — офицер, прищурив глаз, вертел в руке карандаш.

— Господь с вами, товарищ капитан. Какие же это враги? Бабы да ребятя.

— Политическая близорукость, Каменьков! — капитан обернулся в сторону полевой кухни, откуда потянуло дымком, и отправился налить себе чаю.

Когда всё было кончено, Каменьков вытер со лба пот и трижды прочитал над маленьким земляным холмиком «Отче наш».

— Вот оно, видишь, как. Не плачь, дочка, терпи. Господь терпел и нам велел, — Каменьков скрутил папиросу и закурил.

В этот момент капитан с кружкой чая возвращался обратно.

— Ты что? Совсем сдурел, боец? Что над ним молиться? Это же татарин был. Нехристь.

— Татарин не татарин, а Бог — он для всех один, — пробормотал себе под нос Каменьков.

— Ой, допрыгаешься ты, старый, точно допрыгаешься! Донесут комиссару о твоих проделках, и пойдёшь по новой в штрафники.

В этот вечер состав стоял необычно долго. Когда стемнело, конвойные развели возле вагонов костры, согреваясь от ночного холода.

— Шли бы вы к костру погреться, — прошептала мама Каменькову, — и так вам из-за нас достанется от начальства.

Энвер почувствовал, что мама немного успокоилась. Ему казалось, что именно присутствие этого старого солдата окружило их обоих каким-то успокаивающим теплом.

— Да что там, — махнул рукой Каменьков, — мне уж ничего не страшно. И на передовой был, и в штрафбате. Как искупивший кровью, возвращён в строй. Потом снова тяжёлое ранение, госпиталь. Теперь вот сюда отправили.

— За что вас в штрафбат? — тихо, еле слышно спросила мать.

— Под Сталинградом немцев в плен полно поздавалось. Их особо и не конвоировали. Куда им деться? Мороз за тридцать. Идут по дороге, куда им велено. Обмороженные все, безоружные, полуголые. С дороги свернёшь — верная смерть. Они и топали сами в сторону барачков, куда приказали. Смотрю, офицер наш из интендантской службы, тыловик, вытащил одного пленного, поставил в поле и стреляет в него из трофейного маузера, тренируется. Раз выстрелил, другой, всё не попасть никак. Не выдержал я этой картины. Как же так? Человек ведь всё-таки, хоть и враг. Он же сдался в плен, и мы ему жизнь за это гарантировали. А эта крыса тыловая живую мишень решил сделать. Стрелять тренируется. Ну, я и съездил по морде тому офицеру. Получается, как за врага заступился. Так в деле и записали. Вот оно, видишь, как.

В тот вечер поезд так и не тронулся. Конвойные где-то достали для согрева спирт. Всю ночь у костров слышался пьяный смех. Энвер пытался заснуть, представляя товарища Сталина, расстреливающего врагов, но теперь это не помогало. Ему хотелось самому встать к пулемёту. Он видел перед собой огромное тело Голубя, и ненависть переполняла душу Энвера до дрожи.

Ночью Энвер проснулся. Дверь вагона была приоткрыта. Сквозь эту щель он увидел догорающий костёр и висящий над ним солдатский котелок. Еле уловимый запах пригорелой каши заставил Энвера подняться и подползти к двери. В вагоне все спали. Мальчишка просунул голову в щель. У тлеющего костра никого не было.

Энвер скользнул в дверь и мигом очутился возле котелка. В этот момент угли на ветру вспыхнули чуть ярче, и Энвер увидел лежащего на земле Голубя. Тот был мертвецкий пьян. Возле него валялась жестяная кружка и незакрытая фляга. Мерцающие угли освещали багровым светом его жирную лоснящуюся шею. Решение сверкнуло в голове Энвера подобно разряду молнии.

Он вытащил из-за пазухи отцовский нож, который всё это время тщательно прятал, и приблизился к своему врагу. Тут же вспомнилось, как отец учил Энвера резать к празднику барана. Одним ударом. Точно и без колебаний. Энвер сжал в ладони рукоятку ножа и занёс руку.

— Не делай этого, сынок, — тихо прошептал кто-то сзади, — Энвер в ужасе застыл с поднятой в воздухе рукой. — Не надо так делать. Проживи жизнь с чистой совестью. Пусть она и не будет лёгкой, но так лучше, поверь.

За спиной Энвера показалась тень. По мягкому голосу мальчик узнал Каменькова. Тот стоял в нескольких шагах позади и не спешил приближаться.

Энвер почувствовал, что вся сила, которая мгновение назад была сосредоточена в его руке для нанесения удара, разом исчезла. Теперь он не смог бы, наверное, перерезать ножом и волоса. Ноги его вдруг стали ватными, а в висках, как бешеная белка в колесе, стучал пульс.

Каменьков подошёл ближе и обнял мальчика. Энвер прижался щекой к его гимнастёрке, пахнувшей пылью и махоркой. Холодная металлическая пуговица, как маленький ледяной компресс, остужала горячий лоб Энвера. Угли совсем догорели, и наступила темнота. Грубая, тяжёлая ладонь солдата медленно гладила стриженный затылок Энвера.

— Вот оно, видишь, как, — шептал Каменьков, — ничего, ничего.

Каждое утро солнце светило тонкими косыми лучами сквозь пулевые отверстия в стенах вагона. Мучительное ощущение голода было первым, что Энвер чувствовал, просыпаясь. Мама почти ничего не ела, отдавая Энверу выданные ей сухари и часть баланды. Но это не сильно помогало. Энвер чувствовал, что ноги уже плохо держат его и постоянно кружится голова. На каждой остановке из вагона выгружали по одному, а то и два завернутых с головой тела. Иногда были силы и время захоронить их возле насыпи. Чаще просто оставляли на земле. В вагоне становилось просторнее.

На четырнадцатый день дороги перестала плакать Фати. Энвер боялся заговорить с матерью об этом. Он сидел молча возле матери и лишь изредка с тревогой поглядывал на её бледное измождённое лицо, с провалившимися внутрь глазами и стеклянным безразличным взглядом, устремлённым куда-то сквозь грязную дощатую стену вагона. Она прижимала к груди завернутое в тряпицы тело Фати и молчала.

На следующем полустанке стояли долго. Каменьков куда-то пропал, и Энвер с мамой сами выдолбили в каменистой почве небольшую ямку для Фати. Обессиленные, они долбили землю по очереди. Когда мама опустилась на колени и начала копать, Энвер вдруг увидел, какая она маленькая. Казавшаяся ему всегда большой мама как будто уменьшилась, вся вжалась в себя, и Энверу казалось, что он возвышается над ней на огромную высоту своего роста. Он смотрел, широко раскрыв глаза, на маленькую маму у своих ног и не мог понять, как такое может быть. Вокруг медленно проплывали люди. Фигуры их растягивались, как отражения в кривых зеркалах, нелепо изгибаясь и раскачиваясь. Потом в глазах стало темно.

Энвер не помнил, кто погрузил их с матерью обратно в вагон. Он очнулся от резкого звука. Состав со скрежетом тормозил. Его ещё некоторое время болтало из стороны в сторону, и наконец всё замерло. Послышались голоса конвоя и лай собак. Дверь открылась. Несколько пассажиров, с трудом переставляя ноги, выбрались наружу. Большинство оставались лежать в вагоне, лишь приподнявшись, чтобы посмотреть на улицу. В дверном проёме показалось лицо Каменькова.

— Э, брат, так нельзя, — он на руках вытащил Энвера и мать на воздух и усадил спинами к стволу дерева.

Через минуту он уже кормил обоих баландой из своей миски. Потом осторожно, нагнувшись и прикрывая Энвера своей спиной от лишних глаз, Каменьков достал из вещмешка краюху хлеба и, разломив её, протянул мальчику и матери.

— Только медленно есть надо, понятно? Очень медленно. На этой станции паровоз будут менять. Нескоро ещё отправимся.

Он достал нож и вытер его об измятый рукав пыльной гимнастёрки. Глаза его прищурились доброй улыбкой, и лучики морщинок побежали от глаз к вискам. Каменьков торжественно извлёк малюсенький бумажный свёрток и, бережно развернув его на ладони, аккуратно разрезал на три части кусочек сливочного масла.

— Вот, теперь по кусочку маслица, — произнёс он как-то особенно ласково и благоговейно, протягивая вперёд ладонь. Каменьков сидел по-турецки, и Энверу была хорошо видна истёртая подошва его сапога, подбитая крупными ржавыми гвоздями. Из-под сбившейся набок пилотки торчали короткие седые волосы: — А меня намедни к комиссару таскали... Почто, говорят, ты, Иван Фёдорович, так с врагами народа обходителен? Нешто ты, пролетарий, супротив советской власти с ними сдружился? А я им и говорю, разве ж можно супротив советской власти? Я же только за. Разве ж советской власти угодно баб да ребятишек голодом морить? Советская власть — она от народа. А значит, к каждому голодному да несчастному — с милостью. Вот и я так. В полной мере по-советски и поступаю. А иначе мне душа не велит. А они мне говорят, безграмотный ты, Иван Фёдорович, мужик. Не возьму я в толк, какая такая грамота нужна, чтобы неповинных стариков да детишек со свету сживать. Вот оно, видишь, как.

Ещё дней десять болтались в телячьем вагоне Энвер с мамой, пока не прибыли в Узбекистан. Всё это время Иван Фёдорович втихую совал Энверу сухари и одобрительно трепал его по макушке.

— Ничего, брат, скоро уж война кончится. Тогда заживём мы с тобой.

Мама по-прежнему ела плохо, отдавая Энверу половину своей баланды и сухари. Она всё время молчала, и глаза её теперь постоянно были устремлены в одну точку. Взгляд стал холодным и бессмысленным. Кожа на скулах обвисла. На кистях рук отчётливо проступала каждая косточка.

За пару дней до прибытия пропал куда-то и Каменьков. Говорили, что он то ли арестован, то ли находится на допросе у комиссара.

По прибытии всех переселенцев разместили в старых конюшнях. По три-четыре человека в каждое лошадиное стойло, служившее новосёлам отдельной комнатой. Выдали для благоустройства по мешку прошлогодней соломы и определили на работы по уборке хлопка.

В первый же день работ в поле с мамой приключилась беда. При виде бескрайней, раскинувшейся до горизонта плантации хлопчатника она с диким хохотом начала вырывать из земли стебли и подбрасывать их в воздух. Её смогли успокоить, лишь окатив с головы до ног водой. После этого маму отвели под руки обратно в конюшню, где она и пролежала молча до следующего утра.

Всё это время Энвер сидел рядом и иногда пытался заговорить с мамой. Она не отвечала ему. Её удивлённо поднятые брови натолкнули Энвера на страшную догадку: она не узнавала сына. Энвер протягивал ей кружку с водой, и она пила, но взгляд её оставался по-прежнему безучастным. Только под утро мама вдруг подняла голову.

— Энвер, — позвала она тихо, — дай мне руку.

Она взяла ладонь сына и закрыла глаза. Энвер сидел рядом на соломе. Через несколько минут из горла матери раздался негромкий хрип.

— Что мама? Что? Я не разобрал. Мама?

По неподвижно застывшему лицу Энвер понял, это конец.

Наутро все жители конюшни ушли на работы в поле. Выход на хлопковые плантации гарантировал двести грамм хлеба и баланду. Но даже голод не смог заставить Энвера покинуть тело матери. Весь день он, как в тумане, просидел возле неё.

Под вечер вернувшиеся с работ женщины выкопали на задворках конюшни неглубокую яму. Энвер заметил, что поодаль уже есть несколько песчаных холмиков от свежих захоронений, с деревянными табличками на татарском языке.

Солнце быстро стремилось к линии горизонта. Огромный багровый шар заливал своим светом степь, окрашивая в красный цвет землю и фигуры стоящих вокруг людей. Всё в один миг стало багрово-красным: и камни, и растения, и лица. Энвер стоял рядом с матерью, сжимая в руках гриф своей маленькой скрипки, с которой не расставался все последние годы. Его охватило чувство отчаянья. Как теперь можно на этом свете играть на скрипке? Как можно вообще на чём-либо играть? Как могут звучать на земле любые звуки, когда мамы больше нет? Когда никого больше нет? Должно наступить полное безмолвие. Навсегда.

Энвер подошёл ближе и положил скрипку в руки матери. Никто не возражал. В лучах заходящего солнца покрытая лаком скрипка светилась рубиново-красным огнём. Становилось всё темнее, и, казалось, только свет красной скрипки озаряет безмолвные лица людей. Она освещала их до тех пор, пока чёрные комья земли, падавшие вниз с каждым взмахом лопаты, не закрыли этот льющийся во все стороны свет.

Задворки конюшни погружались во мрак. Люди, вздыхая, начали потихоньку расходиться. Энвер продолжал стоять у небольшого земляного холмика. Солнце село, и в полумраке сразу же стало холоднее. Со всех сторон Энвера окутала пронизывающая до костей ночная прохлада, и только за спиной почему-то было тепло. Энвер затылком почувствовал присутствие за собой человека.

— Вот оно, видишь, как! — услышал Энвер за спиной.

Большие мятые рукава пропахшей дымом гимнастёрки обняли мальчика. Всё погрузилось в непроглядную чёрную ночь. Такую же угольно-чёрную, как обелиск на улице Ленина в посёлке Судак, возле которого играл дедушка Энвер.

* * *

Я бросил ещё несколько монет в его скрипичный футляр. Старик перестал играть, открыл глаза и к чему-то внимательно прислушался. Вдалеке прозвенел школьный звонок. Энвер пересыпал монеты из скрипичного футляра в кармани бережно упаковал скрипку. Через минуту стая ребятишек со всех сторон облепила дедушку Энвера. Они все что-то наперебой щебетали ему, дёргали за бороду и залезали на плечи. Бойкая черноглазая девчушка первой вскарабкалась Энверу на колени.

— Дедушка, а ты сегодня много заработал? А на шоколадное мороженое хватит? А на динозавриков хватит?

— Конечно, Фати! Я же тут играл с самого утра.

— Дедушка, а ты знаешь, как нужно в магазине выбирать, чтобы именно динозаврик попался? Ты не знаешь. Я тебя научу. Надо взять пакетик и пощупать: если там длинная шейка, значит, там динозаврик, а если короткая, значит, кто-то другой. А я только динозавриков собираю.

— Хорошо, Фати, сейчас пойдём искать динозавриков, слезай, а то деду тяжело.

Энвер поднялся и, осаждаемый со всех сторон щебечущей ребятнёй, направился в сторону супермаркета. Продолав несколько шагов, он остановился и обернулся ко мне.

— Смотри, все мои внуки, все девять! Все родные — все Каменьковы!

— Как? — удивился я. — почему Каменьковы?

— Так и я же с сорок четвёртого года стал Каменьков. Вот оно, видишь, как...